

УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ

Каждое утро я проваливаюсь в большой и чёрный рот. Ложка за ложкой вливаю в него суп, жидкое картофельное пюре или молочную кашу. Без очередной порции жизни бабушка умрёт. Я это знаю, поэтому продолжаю её кормить. Я милосердно продлеваю наши мучения.

Время в комнате давно не идёт. Остановилось, как на старых деревянных часах, висящих на стене. Стрелки застряли в районе двенадцати. То ли полудня, то ли полночи. В белой комнате всё белым-бело. Белый потолок, белые стены, даже белый противопролежневый матрас. Бабушка любит белый цвет. У окна висит рамка с фотографиями. На нас смотрят люди из прошлого, давно и недавно ушедшие. А в углу, за шкафом стоит трёхногая прялка. Её маленький моторчик едва слышно гудит. Поёт свои песни. Серой да белой вьётся ворсистая нить из козьего пуха. Заполняет собой всё вокруг. И мне кажется, что бабушка сейчас встанет, попросит принести спицы и начнёт вязать тёплый пуховый платок.

Рыжая кошка спит на подоконнике. Она постарела, у неё обломился один клык, а второй и вовсе выпал. Кошка ленива, даже нитки её не интересуют. Временами потягивается, смотрит в окно, потом на кровать. Вглядывается, в малчивается в белое, почти смертельно бледное лицо. Потом отворачивается. Интересно, что видит она своими зелёными глазами.

Иногда я выхожу на улицу. Там – май. Весна – не белая. Весна разноцветная. Зелёная, с красными вставками маков и тюльпанов, с голубыми пятнами цикория и белыми крапинками пастушьей сумки. Весна широкая, вместительная. Вбирает в себя цветущие акации, черёмухи, абрикосы и кусты смородины. Весна пахнет молодой и скошенной травой, подрастающими телятами с мокрыми носами и шершавыми языками. Время на улице идёт. Люди дышат, ходят, любят, едят мороженое. Бабушка тоже любит мороженое. Но вчера отказалась, Съела только половину. Так странно ощущать другой мир, чувствовать не только возможность его существования, но и предельную цельность и целостность. Эти два разных мира соприкасаются друг с другом. Из уличной разноцветной плоскости можно нырнуть в комнатную и белую, а наоборот – нет.

Я стою рядом с кошкой. Мы вместе смотрим во двор. Из окна спальни виден раскустившийся виноград. Он рождает маленькие кислые ягоды, вино получается невкусным с ноткой печали, сырости и уксуса. В детстве под виноградником я строила шалаш. Всё просто – ставишь недалеко друг от друга стулья спинка к спинке, накидываешь

на них одеяло. Личный дом – приют волшебных невидимых друзей готов. В шалаше я встречалась с десятками приятелей. Мне говорили, что это сказки, что их не существует. Но я-то знала, что они живые, что до Василисы можно было прикоснуться рукой, и кожа её была тёплой и белоснежной, а хозяйка Медной горы показывала свои сокровища. Горыныч часто кашлял, а в пушкинского царевича Елисея я была влюблена без памяти.

Мне кажется, что и сейчас построй я шалаш на том самом месте, мои невидимые друзья вернутся. Но шалаш я давно не строю. Летом, когда беспросветно жарко, я ставлю под виноград раскладушку. Можно смотреть, как лозы набираются силой и солнцем, сквозь листья вглядываться в синее небо и угадывать очертания фигур в облаках. Лето уже близко, уже дышит горячим дыханием и жаркой смолой тающего асфальта. В углу так и гудит трёхногая прятка. Я чувствую, что чьи-то невидимые узловатые пальцы с отеками суставов тянут пушистую нитку. Знаю, что когда-то нитка закончится, тогда в белой комнате снова включится время.

Кошка мурлычит, что-то рассказывает. Я спрашиваю у неё, на чьей стороне мы стоим. Не перешли ли мы со стороны милосердия на сторону жестокости. И как понять, что мы не переступили призрачную грань. Но кошка не задумывается над этими вопросами. Она рассказывает о земных делах, о том, что корм оказался пресным, а вот прошлые подушечки ей понравились гораздо больше. Рассказывает, что соседи завели у себя молоденькую Мурку. Та не только нахальна, но и еще глупа.

Под кошачье мурчанье я окунаюсь в прошлое. Взгляд скользит, ныряет вглубь двора. Я вспоминаю тот летний и тёплый вечер, вижу бабушку совсем молодую. Ей лет пятьдесят, не больше. Двор ещё не в запустении. Забор не покосился, а теплица стоит на своём месте и накрыта плёнкой. В огороде растут баклажаны, по их ворсистым листьям ползают колорадские жуки. И мне всего десять лет. Бабушка несёт ведро, полное молока. Нечаянно капли выплёскиваются и оставляют влажные следы на земле.

Помню вечер, когда я отчётливо запомнила её, вгляделась в неё из окна спальни. В тот вечер приехала машина из районной больницы. Авария на трассе рядом с нашим селом, требовалась редкая кровь для срочного переливания. До города пострадавший не доехал бы. Бабушка села в машину и уехала отдавать кровь. Потом я узнала, что она всегда так делала. Бывало, что сдавала кровь и спустя полтора месяца после предыдущей донации, если нужно было спасти человека. Вот только ей уже не помогут ничьи пол-литра красного. Вены стали тонкими, словно совсем исчезли, словно и крови в них не осталось.

Кошка настороженно оборачивается. Я слышу глухой скрип ступеней и осторожный скрежет входной двери. Кто-то тихо шагает. Последние пару месяцев так ходит дедушка.

Он становится у дверей спальни и смотрит на нас. Ждёт. И так каждый день. Ничего не говорит, даже каких-то полслова. Он такой же высокий и седой. Только лицо одутловатое и синее, таким я видела его в последний день.

– Кто приходил? – спрашивает бабушка, она постоянно спит, но сон чуток, прерывист и временами лжив.

– Никто. Тут только я, – отвечаю ей.

– Я слышала шаги.

– Нет, тебе показалось, – вру я.

Выхожу из белой спальни и иду в другую комнату. Дедушка продолжает стоять в дверях. Смотрю на него, но он делает вид, что не замечает меня.

Временами затянувшееся раздражение и усталость сменяются отчаянием. Я тихо плачу, вижу, что дедушка теперь смотрит на меня. Наверное, считает рохлей, и, наверное, он прав. Не такой они меня воспитывали. На ум приходят строчки из «Онегина» и понимаю, что понимаю слова о болящем дяде. И мне становится стыдно. Думаю о том, сколько будут тянуться наши уроки смирения и милосердия? Год, три, пять? Следом ужасаюсь, что вообще думаю о таких вещах.

Я вспоминаю, бабушкино военное и послевоенное детство. В их дом попала бомба, чудо, что она с сестрой и матерью была в отъезде. Вспоминаю, как в голодные годы она ела оладьи из лебеды и стебли бузины, как ходила в школу за пять километров. Потом на работу в библиотеку, следом на работу в больницу, держала огромное хозяйство, такое огромное, что даже представить страшно. Управлялась с коровами, быками, свиньями и сотнями птиц. А я сижу на кухне большого и тёплого дома, пью кофе, читаю книгу и жалею на жизнь. Я никогда не ела ни лебеду, ни бузину.

В моменты острого отчаяния я думаю, что ничего-ничего никогда не изменится, мы вечно будем вместе в белой комнате, только времена года на улице будут чередоваться. Мы с кошкой будем смотреть, как желтеют листья на винограде, кислые ягоды наливаются силой и морозом, зимой по стволам и стеблям кустов будет бить дождь (если повезёт, то их укроет шапкой снега), весной и летом виноград оживёт. И так из года в год, виток за витком.

– Вика, принеси мне чай, – просит она.

– Хорошо, сейчас, – отвечаю я.

– Только горячий и сладкий. Ты мне всегда готовишь плохой чай.

Я знаю, что когда принесу ей напиток, она забудет, что просила чай. И скажет, что хотела компот, скажет, что чай ужасный, и не сладкий, и не горячий; и я назло ей делаю не то, что просит. Думаю, что это деменция. Но всякий раз злюсь на неё и следом на себя. Не вышла из меня хорошая сестра милосердия. Да и плохая получилась с натяжкой.

Я иду на кухню. Взгляд останавливается на ступеньках. Они в засохшей крови. Чёрной и густой. Я отмываю их каждый день, но кровь неустанно проступает снова и снова. Напоминает о трагедии. Шёл октябрь, мокрый, уже холодный.

Бабушка шла кормить свою курицу, жалкую и старую хромую птицу. Наверное, ей исполнилось уже года три или тридцать три. Курица еле ходила, всё время спотыкалась и разучилась кудахтать. Бабушка не хотела отказываться от птицы, свежие яйца от своей курицы казались ей чем-то первостепенным, без чего нельзя обойтись. Последние десять лет она говорила, что перестанет держать кур и снова заводила партию новых. В тот октябрьский вечер бабушка споткнулась и неудачно упала. Настолько неудачно, что со всего маха ударилась об угол ступеньки правой ногой. Она разломилась надвое чуть ниже колена. Врачи сказали, что виной остеопороз. Спасти ногу не удалось.

После операции я приехала к ней домой, вымыла ступени. Встала около окна в пустой спальне. Шёл беспросветный ливень, капли били по стеклу. Я смотрела на дождь. Дождь смотрел на меня. Я слышала, как в углу спальни запела прялка. Вслушалась в тихий гул. Это были песни о любви и ненависти, о дружбе и предательстве. Песни о том, как невесты ждут женихов, а матери – сыновей и мужей.

В тот осенний день она не умерла. Врачи говорили, что она не выйдет из реанимации, не отойдет от наркоза. Всё случилось по-другому. Около недели я выгоняла из палаты всех призраков. И настойчивую женщину, чьё лицо бабушка рассмотреть не могла, но отчётливо видела, что пальцы у неё узловатые, крупные.

Пока греется чайник, я выхожу на улицу, в небольшой двор. В памяти вспыхивает старый деревянный забор с резными наконечниками на каждой дощечке. Дорожки еще не заасфальтированы, это просто утоптанная земля, превращающаяся в месиво во время дождей. Бабушка работает в огороде, дедушка чинит машину и, кажется, что детство никогда не кончится. Я выхожу за калитку, иду к заднему двору, где хранятся стройматериалы. И, разгоняясь, поочередно прыгаю через груды песка, небольшие бревна, тюки с сеном, старые шины, сложенные одну на одну.

Вечером я, разморенная и уставшая после многочисленных прыжков, сажусь за стол. Ем нехотя, я очень худа и постоянно ем через силу. Бабушка встревожена, собирается уходить.

– Лида только что умерла, – говорит дедушке, – я пойду к ней.

– Померла всё-таки, – отзывается дедушка, – я приду за тобой попозже.

Лида – бабушкина подруга. Я знаю, что она живёт на соседней улице и чем-то болеет. И последний месяц бабушка постоянно говорит, что Лиде хуже и хуже, ходит к ней чаще и

чаще. Но я верю в сказки, в живую воду. Верю, что можно выпить чудесного лекарства и сразу вылечиться. Мне кажется, что умирают только старые, даже древние люди. Но никак не могут умереть молодые. Это не может быть правдой.

Но толстая и неповоротливая Лида, пугающая меня своим тяжёлым и потусторонним голосом, умерла. Она звонила почти каждый вечер. Телефон кричал, даже трубка подпрыгивала, а провод, ведущий от трубки к самому аппарату, дёргался. Голос глухо говорил: «Вика, позови бабушку, скажи Лида звонит». Она могла и не представляться, мне кажется, я угадала бы этот утробный голос из тысячи других. Я шла во двор и звала. Лида угощала меня жареными пирожками с луком и яйцами. От пирожков оставались жирные пятна на пальцах, и они были такими невкусными, что я втайне скармливала их нашему псу.

– Бабушка, ты не умрёшь? – неожиданно спрашиваю я.

– Пока нет, – отвечает она.

И я успокаиваюсь, без особого желания принимаюсь за свою порцию картошки.

Свист чайника вырывает меня из воспоминаний и зовёт на кухню. Я готовлю сладкий и горячий чай. Конечно, бабушке чай не нравится и она говорит, что просила компот. Я не спорю с ней, это бесполезно. Обещаю через час накормить обедом и дать таблетки. Кажется, что у нее ампутировали не ногу, а важную часть жизни или души. Она наотрез отказалась вставать, садиться и, тем более, пересест в инвалидное кресло. Она отказалась есть и приходилось её кормить, отказалась пить, жить, чувствовать.

Последняя курица, которую она шла кормить в тот день, умерла. Мы долго это скрывали. Говорили, что птица жива, что с ней всё в порядке, мы её кормим и не дадим умереть с голода. Потом признались в правде. Даже новость о гибели той жалкой и хромой курицы не подействовала. Бабушка никак не отреагировала.

Очередным утром я вхожу в тихий дом. Ей снова плохо. Сахар постоянно падает и уже ничего не может удержать его на нормальном уровне. Врачи говорят, что помогут только долгие углеводы, что таблеток от гипогликемии нет. Но ни картофель, ни макароны, ни рис не справляются. Углеводы добавляют вес, без движения бабушка пухнет, а сахар падает и падает.

Очередным утром я не смогла вывести её из глубокого приступа, хотя обычно справляюсь сама. Сознание не возвращалось. Я смотрела на неё и понимала – выйди я сейчас на улицу, сделай вид, что не заметила её состояния, пойди в магазин, в конце концов, её и наши страдания закончатся.

Никто ничего никогда не узнает. Кроме меня. Я скажу, что утром пришла, а она уже была мертва. Может быть, в этом и есть милосердие.

И я вышла на улицу. В февраль. Снова наступила на кровь, засохшую на ступеньках. И подумала, что через пару часов пятно исчезнет. И выдохнула, скоро всё закончится. Следом достала из кармана телефон, вызвала скорую и выдохнула снова. Я сделала выбор. Есть живая и мёртвая вода. А есть глюкоза, вколотая фельдшером внутривенно. Она вернула бабушку к жизни.

Наши дни тянутся и тянутся. Один за другим. Кошка уже с трудом запрыгивает на подоконник. Пару раз я видела, как она не допрыгивала и билась головой о стенку. Следом за отчаянием приходит смирение. И ты перестаёшь ждать конца. Перестаёшь заговаривать с дедушкой, стоящим у дверей спальни, перестаёшь вслушиваться в гудение моторчика трёхногий прялки. Обработка пролежней не кажется чем-то ужасным. Окраска запахов гниющего тела стирается, становится привычной и не вызывает тошноту.

– Вика, сорви мне цветов, – однажды в очередном июне просит бабушка, – поставь на окно.

– Хорошо, – я делаю вид, что не удивляюсь, что просит она о будничных вещах: приготовить чай, или принести печенья, или выгнать кошку из комнаты, потому что она громко мурчит. Никогда она не просила принести ей цветов.

Я иду в палисадник и срезаю молодые ирисы и лилии. Добавляю к ним ветки цикория и дикой пастушьей сумки. Кажется, что с ними букет будет душевнее. Мне всегда неловко срезать живой цветок, ничего не могу поделать с этим нелепым ощущением. Я режу секатором стебель рыжей лилии, словно забираю чью-то жизнь, безопасно и как бы в шутку. И как бы можно было это не делать. Лилия падает на мою правую ступню, из стебля сочится сок.

Я вношу букет садовых цветов в дом, опускаю стебли в банку с водой и несу в спальню к бабушке, ставлю на окно.

– Спасибо, – говорит она, но как будто не мне. Как будто кому-то другому.

Я оборачиваюсь. Дедушка стоит у дверей и твёрдо говорит:

– Пора.

Я выхожу из спальни, хочу оставить их вдвоём и не мешать. Мельком заглядываю за шкаф и понимаю, что трёхногая прялка осталась в далёком детстве, вспоминаю, что её продали старьевщикам еще в девяностые годы. Впервые обращаю внимание, что стены- не белые, на обоях в спальне пёстрые и красные цветочки. На поминах мы пьём домашнее вино. Оно не кислит и не пахнет уксусом, как мне раньше казалось.